

как мы пишем

К

ГЛУХОЙ алтайской деревне с выразительным названием Волчиха мы подъезжали, когда начал разыгрываться обычный, затянувшийся потом на неделю сибирский буран. Деревня, горы, угадывающиеся вдалеке, дорога, хвост лошади — все

постепенно тонуло в сплошной пелене стремительно несущегося снега. И вдруг сквозь эту пелену почудилось какое-то движение, неясные тени людей и среди них фигура женщины в коротком ватнике; она стояла на каком-то возвышении, по-видимому, на сугробе снега. В одной руке ее была лопата, а другую она протянула вперед и, очевидно, кому-то что-то кричала. Голоса ее я не слышал, лица не видел и вообще потом ее не встречал, я просто проехал мимо и спросил возницу: что здесь делается?

— Сложку перетягивают на другой участок, — ответил он. — Вовремя-то не обмолотили, вот теперь нагнать приходится.

Да, колхоз, отдавший почти всех мужчин фронту, не справился с уборкой, и хлеб ушел под снег. Но фронт требовал своего, и сюда, в Волчиху, пришел приказ Родины: обмолотить и сдать хлеб. И вот сложную молотилку, «сложку», отработавшую на одном участке, нужно перевести на другой: тянет ее трактор, а женщины рассчитают дорогу.

Это было давно, в самый разгар сталинградского сражения — как немилосердно летит время! — но женщина с лопатой в руке, ее обвязанная платком голова и треплющееся на ветру платье до сих пор стоят у меня перед глазами. Из этого видения родилась «Марья».

Я знал колхозную работу и раньше, видел женщин в этой работе, но это были будни. Теперь перед глазами возникло явление-образ и осветило все. В этой фигуре я сразу почувствовал все то бремя, которое легло на советскую женщину в годы войны, весь ее не выразимый никакими словами подвиг, всю ее незаметную, но такую покоряющую нравственную красоту, что я уже не мог не писать об этом. Мне хотелось воспеть нашу русскую женщину, верную жену, мать, труженицу и гражданку, которой в труднейшие минуты жизни Родины приходилось решать сложнейшие общественные и нравственные вопросы.

И именно потому, что мне хотелось воспеть ее, я не разрешил своей Марье полюбить Дубкова, инвалида войны, ее постыльца. Драматургически это было так заманчиво: жена получила «похоронную» на мужа, вышла за другого, а потом вернулся муж. Какой сердцепалательный конфликт! Но он снижал весь образ, лишал его народной нравственной силы, и я не смог разрешить себе принять его. И читатели, надо сказать, все это поняли и оценили.

Над книгой я работал семь лет. Я извездил и исходил пешком десятки колхозов, читал лекции, помогал людям в работе, много бесед «по душам» провел в зимние вечера после бурных колхозных собраний, или в полевых станах во время обеденного перерыва, или в ожидании поезда на железнодорожных станциях — и везде, на каждом шагу я встречал эту многоликую «Марью».

Так зародилась и начала складываться у меня мысль о романе. Сначала все было туманно, неясно: не было людей, не было точного сюжета и лишь постепенно формировались в сознании образы героев.

Когда работа над первой книгой романа, посвященной годам войны, была наполовину закончена, я почувствовал настоятельную потребность проверить себя и еще раз подкрепить жизненно свое представление о том, что я пишу. Я поехал в Краснохолмский район Калининской области, в райком партии, кстати, состоявший тогда сплошь из женщин, организовал для меня в трех колхозах читки написанных глав романа.

Я никогда не забуду, например, вечера, проведенные в колхозе «Красная Русь». Правление колхоза битком набито народом. Люди сидят на лавках и прямо на полу, от стола до самого порога и под аккомпанемент посвистывающей под окном выюги в

течение трех вечеров подряд слушают повесть о Марье. И не просто слушают: то слышатся всхлипывания женщин, то раздается смех, то реплики: «Правильная женщина!», «Молодец — себя уберегла!».

Это дает уверенность: значит, доходит до сердца человеческого, значит, правильно я рисую свою Марью, люди ее понимают.

А когда я читаю о Порхачеве, председателе, едва не погубившем колхоз, вдруг раздается возглас: «Да ведь это наш Белоусов!» И посыпались рассказы об этом самом Белоусове, тоже порядком навредившем колхозу, и о том, как ему дала бой рядовая колхозница, женщина чистейшей души Александра Николаевна Корпунцова, и как потом сменила Белоусова на посту председателя Праксисова Иванова Шилова. Именно ей принадлежат слова, являющиеся вершиной ду-

Григорий МЕДЫНСКИЙ

судьбы и проблемы

ховного роста Марьи: «Государственным нужно быть человеком». В ней, а позднее также в лице П. В. Великановой, М. Е. Копыловой, А. А. Гавриловой, Героя Социалистического Труда А. М. Глашкиной я получил жизненное подтверждение того образа советской женщины, который рисовался моему воображению, и я уверенно стал заканчивать работу над первой книгой романа, как говорится, подводить дом под крышу.

Но еще во время читки в колхозе «Красная Русь» слушатели очень интересовались дальнейшей судьбой героев романа, и прежде всего Марьи.

— А как же Семен-то? Придет он или не придет? — спрашивали женщины.

— Не знаю, — ответил я. — Еще не решил.

— Пусть придет. Марья баба хорошая, ее порадовать нужно.

— А как же тогда Марье быть? Останется она председателем или уйдет Семена обиходить?

Я писал книгу о подвиге женщины в годы Отечественной войны и о послевоенных годах, честно говоря, не думал. Но через какое-то время в другом колхозе («Победа» Тульской области) при такой же читке был задан тот же вопрос:

— А как же теперь Марья с Семеном жить будет?

— А как по-вашему? — спросил я в свою очередь.

И начались споры, горячие и страстные. В них сказались разные точки зрения, направления и оттенки мыслей, разные нравственные оценки и разная глубина человеческих переживаний.

Мысль читателей, мысль народа, перешагнувшего через точку, которую собирался поставить писатель, помогла ему расширить и до конца осмыслить тему. Женщинам, пришедшим к руководству колхозами в годы войны, теперь нужно было решать ряд важных и личных, семейных и общественных вопросов. Нужно было расти дальше, нужно было сочетать личное и общественное, отстаивать себя и в своем лице достоинство советской женщины, ее умение руководить, ее способность разрешать большие и хозяйственные, и политические проблемы.

Но художественное произведение определяют не только проблемы — иначе это была бы статья, публицистика. В нем важен эмоциональный настрой, отношение писателя к этим самым проблемам, любовь и ненависть.

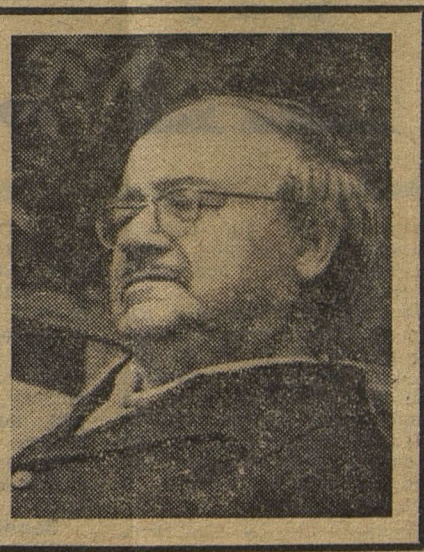
Поясню это примером. В «Марье» есть нежно любимый мною образ девушки, представительницы той части женского населения военных лет, которую можно назвать тоже своего рода жертвой войны. Безмужние и бес-семейные, эти, не успевшие выйти замуж девчата стали «рабочими пчелками», основной рабочей силой в колхозах военных лет с невеселой и безнадежной перспективой остаться, как это в народе говорится, «вековухами».

К одной из них, очень скромной и работающей девушке, оставшейся со стариком отцом, мне удалось близко присмотреться. Звали ее Любой, и в откровенном разговоре она как-то с грустью сказала:

— Работаешь и работаешь, а счастья-то нет.

Мне стало жалко и ее, и всех ее обездоленных сверстниц, и мне захотелось порадовать их, дать им луч надежды: ничего, мол, не потеряно и, если сохранить душу, счастье тебя найдет. И вот я силой своего авторского права переименовал ее в Наташу, женил на ней Андрея, вернувшегося с фронта, первого, как говорится, парня на деревне, и «устроил» им счастливую жизнь. Что это — лакировка? Нет, это желание поддержать дух человеческий — пусть радуются!

Но вот повернулось колесо жизни, и передо мною возникли совсем дру-



гие проблемы. Как в театре с возвращающейся сценой: то перед вами богатый особняк с колоннами и вазами для цветов, а то вдруг кирпичная стена с облупленной штукатуркой и какие-то бочки из-под капусты.

Давно, еще до войны и до «Марьи», написал я свою первую книгу о школе и воспитании — «Девятый «А». Напечатана она была по рецензии А. С. Макаренки, опубликованной в седьмом томе его собрания сочинений. Он же был и ее первым редактором, и только смерть помешала ему довести это дело до конца. Но я хорошо помню наш последний разговор с Антоном Семеновичем.

— Книга интересная, и особенно — ребятам. Печатать нужно. Но сейчас она только явление, а могла быть событием. Не хватает проблематики.

От этой беседы о значении проблематики я веду счет своего писательского бытия. Это сказалось потом и на «Марье», и на следующей за ней школьной книге «Повесть о юности».

В те годы, в тот переломный период в жизни всей страны, о школе шли острейшие дискуссии, в которых за внешним и частным поводом скрывался их подлинный смысл — как относиться к существующему, к установленному? Я — за совместное обучение, хотя слышал то дружеские, то строгие предупреждения: «Что вы?.. Министр сказал, что этот вопрос не подлежит обсуждению».

«А по-моему, в литературе все подлежит обсуждению», — ответил я как-то на заседании редсовета издательства. — Важно, как ты решаешь этот вопрос. А я считаю...»

Решили отложить и подумать, а пока думали — вышло постановление правительства о переходе на совместное обучение. И я задумался: а что если бы я послушался всех этих, часто очень авторитетных консультантов и советчиков и написал бы повесть в защиту раздельного обучения? Она умерла бы на корню, не успев родиться.

Значит, нужна самостоятельность мысли, и убежденность в своих взглядах и выводах, и внутренняя ответственность и перед самим собой, и перед обществом.

И «Марья», и «Повесть о юности» были книгами о хороших людях, об их высоких устремлениях и идеалах. Писал я об этом честно и искренне и если в чем-то ошибался, то тоже честно и искренне, без всякого сознательного стремления что-то приукрашивать и лакировать.

И я никак не думал, что когда-то буду писать о совершенно обратном — о юности трудной, тяжелой и даже преступной, и притом так же честно и искренне, без всякого стремления что-то смаковать и очернять. А просто сама владычица-жизнь взяла меня «за шкирку» и повернула, заставив увидеть то, чего я не видел раньше.

После «Повести о юности» я хотел писать новую очередную повесть о школе на новом этапе, когда введено было совместное обучение; в школу пришел труд... Я ходил по школам, собирал материал, ходил, конечно, по хорошим школам, приглядываясь тоже к самому хорошему и интересному. И вот из такой хорошей школы, новостройки, с крепким коллективом, с умным директором, после полупотного возникшего разговора с ним о слушающихся, несмотря на эту «хорошесть», ЧП я пошел в детскую комнату милиции и увидел там жизнь с другой стороны.

Конечно, мимо этого можно было пройти с самой неотразимой как будто бы аргументацией: это нехарактерно, это непоказательно, я лучше буду писать об отличниках и комсомольцах. Но что же делать с той, «другой» жизнью? И тут я столкнулся с иерией, которая легла потом в основу «Чести»: на скамью подсудимых сели тринадцать ребят, в основном учащихся, во главе с учеником 10-го класса, сдававшим уже экзамены на аттестат зрелости.

Из этих тринадцати человек у восьми родители члены партии, у шести — работники МВД, у четырех — педагоги. И я понял, что передо мной открылась громадная важности общественная проблема, пройти мимо которой было бы моим гражданским и писательским преступлением. Я почувствовал и понимал все сложности и трудности этой темы как в ее раз работке, так и в реализации, но отказать от нее мне не позволила совесть.

Так родилась «Честь».

И опять самые дружеские и сердечные советы и предупреждения.

— А тебе что, писать больше не о чем? — удивился один.

— Эта тема вне прекрасного и не может быть предметом искусства, наставительно заметил другой. — Искусство должно вдохновлять, а вдохновлять может только величественное.

— А ниспровержение низкого во имя величественного? — спросил я.

— Но в этом можно утонуть.

— Утонуть можно и в душе.

Так отвечал в «Чести» своим друзьям-приятелям писатель Шанский и думал... Он шел по улице и думал, ехал в метро и думал, сидел на собрании и думал, продолжая свой спор с друзьями и советчиками, и никуда нельзя было ни уйти, ни уехать от этих дум, и ничего уже другого нельзя было писать, потому что писать можно лишь «по должности гражданина», и книга в результате этого должна что-то менять, что-то ниспровергать и что-то утверждать, она должна быть двигателем жизни и решителем всех важных современных вопросов, как писал в свое время Белинский.

Полезно вспомнить в связи с этим и К. Маркса:

«...Поэт перестает быть поэтом, когда поэзия становится для него средством. Писатель отнюдь не смотрит на свою работу как на средство. Она — самоцель».

Самоцель... Это внутренние, духовные, подлинные стимулы творчества, не промысел, а потребность, жажда, необходимость общения и воздействия, нравственная потребность души. Отсюда — искренность. Отсюда — эмоциональный настрой книги: восхищение и негодование, радость и гнев, сочувствие и тревога, «Марья» и «Честь».